# Попутчик коммунистической партии

# Жан‑Поль Сартр

Сартр: Думаю, я должен начать с 1936‑го. В то время я не увлекался политикой. Это значит, что я был либеральным интеллектуалом «республики профессоров», как в то время иногда называли Французскую республику. Я полностью поддерживал Народный Фронт, но мне никогда не приходило в голову голосовать [за них] для придания решающего значения своим мнением. Это вряд ли это позволительно, если подходить к вопросу рационально. Но когда идеология терпит крах, оставшиеся убеждения заставляют задуматься о магическом аспекте. Что все еще оставалось для меня — принципы индивидуализма. Я чувствовал, что меня привлекают толпы, которые *создали* Народный фронт, но я не совсем понимал, что я был частью этого, и что мое место было среди них: я видел себя одиночкой. Позитивным элементом этого была смутная антипатия к всеобщему избирательному праву, и неясная идея, что голосование никогда не репрезентирует конкретное намерение человека. Только намного позже я понял, что беспокоило меня в идее всеобщих выборов: они могли служить только представительной демократии — надувательству.

Потому я оставался бездействующим до 1939‑го, ограничиваясь писательским ремеслом, но при этом полностью симпатизируя левым. Война раскрыла мне глаза: я прожил период с 1918 по 1939 как если бы это был рассвет длительного мира, и я увидел, что на самом деле это было приготовлением к новой войне. Что касалось милого чистого маленького атома, которым я себя считал, то могущественные силы завладели им и отправили его на фронт, не спрашивая его разрешения. Война на всем ее протяжении, и особенно мой плен в Германии (из которого я сбежал, выдав себя за гражданского) стали для меня обстоятельством длительного погружения в толпу, которую, как я считал, я покинул и от которой я на самом деле никогда не избавлялся. Победа нацистов полностью опрокинула все мои представления, которые все еще вдохновлялись либерализмом. Кроме этого, политический долг настиг всех нас и в тюремном лагере. Несколько человек, такие же заключенные, как и мы, намеревались объединиться под эгидой французского фашизма. С того момента мы оказались перед лицом политической реальности, которой всегда так хотели избежать. Нам пришлось бороться с немецкими и французскими врагами во имя демократии. Но то, что мы защищали, больше не было либеральной демократией.

По возвращении в Париж после девяти месяцев плена я пытался — все еще убежденный в суверенной силе индивида — создать группу сопротивления под названием «*Социализм и свобода*», которая достаточно ясно указывало на принципиальную заинтересованность, но которая, как многие другие малые группы того времени, состояла только из мелкобуржуазных интеллектуалов. Мы не выполняли тяжелой работы; главным образом мы писали листовки. Когда СССР вступил в войну, мы намеревались заключить альянс с коммунистами. Один из нас установил контакт с ними в университете — опять же, с интеллектуалами. Они связались с высшими эшелонами Французской Коммунистической партии (PCF) и принесли ответ: «Сотрудничество с ними — вне обсуждения; Сартр был вскормлен нацистами, чтобы проникнуть в движение сопротивления и шпионить для немцев». Это недоверие коммунистов раздосадовало нас и заставило осознать свое бессилие. Немного позже мы самораспустились, но одна из нас была арестована немцами: она умерла в ссылке. Испытывая отвращение, я ничего не делал в течение восемнадцати месяцев: был профессором в Lycйe Condorcet.

В конце этого периода со мной связался один старый друг‑коммунист, который предложил мне вступить в CNE (*Comitй National des Йcrivains* — Национальный Комитет писателей), который издавал нелегальный журнал, *Les Lettres Francaises*, и я выполнял ту работу, которую можно было ожидать от писателей, отрезанных коммунистической партией от вооруженного и от массового сопротивления. Мое взаимодействие с компартией началось только в начале 1943‑го. Для начала я спросил у них, не боятся ли они выдать шпионскому выкормышу нацистов имена членов сопротивления, входящих в CNE. Они рассмеялись, сказав, что это было недоразумение, и что все разрешится. И в самом деле, больше ни один коммунист Парижа не распространял клеветнических слухов обо мне. Тем не менее, в свободной [от оккупации] зоне среди коммунистов ходил черный список писателей‑коллаборационистов, в котором фигурировало и мое имя. Я разозлился, и меня убедили, что это была ошибка, и что этот список больше никогда не появится с моим именем. Думаю, именно в нем было дело. С момента первого взаимодействия я помню собрания по установленным датам в доме Эдита Томаса. О них много не расскажешь, кроме того, что мы издавали *Lettres Franзaises*, в котором я написал несколько статей и редактором которого был Жан Полан. Мы не делали ничего практически значимого. Больше всего я чувствовал, что нас намерено изолируют. Это было особенно заметно во время сражений Освобождения. Многих из нас просили принимать в этом активное участие, направляя при этом охранять Comйdie‑Francaise, который, естественно, никогда не подвергался атакам. Тем не менее, целый день длилось сражение вокруг Place de la Thйatre‑Franзais, но только не для нас, которых направили работать няньками.

После Освобождения компартия полностью изменила отношение ко мне: *Les Lettres Franзaises* нападали на меня, как и *Action* (менее воинственно, но более коварно). Я приписываю этот перелом тому факту, что я стал известен, особенно как автор «*Бытие и Ничто*», что могло вызвать только их неприязнь. Один из лидеров сказал, что я только тормозил поступление молодых интеллектуалов в партию. Наступил момент настоящего замешательства: это был период, когда я мог извлечь уроки из того, чему меня научило Сопротивление, которое, как мы все знаем, значительно склонилось к левым взглядам и которое, в тот самый момент, начинало разоружаться Де Голлем. Что до меня, я бы стал убежденным социалистом, но анти‑иерархичным и либертарным, то есть я выступал за прямую демократию. Я точно знал, что мои цели не совпадали с целями компартии, но думал, что некоторое время буду идти той же дорогой. Этот внезапный перелом меня полностью дизориентировал.

А затем был мой журнал *Les Temps Modernes*. Он еще не был политически активным, но я искал разные идеальные формы исследования, позволяя себе продемонстрировать, что любая социальная реальность одинаково отражает, хотя и на различных уровнях, структуры того общества, которое ее породило, и что в этом отношении любое происшествие так же наполнено смыслом, как и то событие, которое, по существу, являлось политическим в прямом смысле слова. Я сейчас переформулировал бы это так: все является политическим, то есть, все ставит под вопрос общество в целом, и делает его предметом спора. Это была отправная точка *Temps Modernes.* Это с необходимостью означало занятие политической позиции (но не в смысле вступления в политическую партию, а скорее в смысле определения ориентиров своих поисков), и я дал полную свободу Мерло‑Понти в области политического определения позиции журнала. Он занял ту же позицию, что и многие французы. Она состояла в уповании на Социалистическую партию (PS) и иногда на MRP, которая смотрела в разные стороны и не могла восстановить отношений с коммунистами. Например, он считал, что Права Человека в нашей буржуазной республике были абстрактными и пустыми, и рассчитывал на то, что влияние компартии, к которой прислушивались две другие партии, заставит их придать этому некое общественное содержание. Лично я не делал ничего значительного на политическом уровне, но я его одобрял. Эта позиция преобладала в журнале в период 1945‑50‑х. В результате коммунисты, хотя все еще не доверяя Мерло‑Понти, относились к нему лучше, чем ко мне. Но это восстановление отношений PS и MRP с компартией было запятнано с самого начала, потому что предполагало трехпартийное правительство. Первый разрыв произошел во время волны забастовок, которая заставила компартию уйти из правительства. С этого момента, будучи в оппозиции, компартия усилила свои позиции, в то время как Социалистическая партия, двигаясь в противоположном направлении, стала левым крылом правых. И люди вроде нас, которые считали себя способными внести вклад в восстановление моста между компартией и партиями в правительстве, оказались между двумя огнями. Наша позиция оказалась несостоятельной. Мерло‑Понти и подумать не мог, чтобы протянуть руку к компартии, если только она не поддерживала правых.

После этого разрыва было три возможности: сблизиться с компартией, сблизиться с PS‑MRP, из которых состояло правительство, или уйти из политики. Ухудшив ситуацию, в это время произошло первое столкновение, я имею в виду войну в Корее. Мерло‑Понти был этим очень потрясен, и он мне сказал: «Пушки заговорили. Нам остается только заткнуться». Он воспринял сообщения американских агентств как правдивые, отдалился от Партии, и выбрал второй вариант решения. Он все больше отдалялся от нас. Я, тем не менее, выбрал первый вариант: я сомневался в тех известиях, которые он воспринял серьезно. Прежде всего, в то время я считал компартию органичным представителем рабочего класса. Фактически, из левых больше никого и не было. Я не понимал, что демократический централизм и иерархическая структура аппарата коммунистической партии были одним и тем же; даже при том, что она стремилась к голосованию и членству рабочих, ее политика никогда не определялась снизу, только сверху.

Было необходимо, чтобы восстановление связей с компартией стало хотя бы возможным. На самом деле, они не хотели даже слышать об этом. На следующий год я вступил в *Rassemblement Democratique Revolutionnaire* (RDR), организацию, основанную [Дэвидом] Руссетом. Мерло не вступил в нее сразу, и присоединился лишь позже, чтобы не бросать меня. Это было моим первым политическим шагом, и, я должен признать, не самым удачным. *Rassemblement* не хотела, чтобы в ней участвовали только беспартийные; она стремилась, чтобы к нам присоединились коммунисты и социалисты, без прекращения активного участия в PC или в PS. Это было полным идиотизмом. Пока наше — Мерло‑Понти и мое — участие ограничивалось только *Les Temps Modernes*, журналом с 10,000 читателей, наша критика не волновала коммунистов: они были заинтересованы в том, чтобы мы не были связаны с какой‑либо партией. Они даже иногда снисходили до ответа. Но с того момента, как, будучи в RDR, мы хотели привлекать на нашу сторону их членов (признавая, конечно, что они остаются коммунистами, хотя это было просто стилистической оговоркой), компартия обрушилась на нас со всей силой. Нас было немного, от 10,000 до 20,000. Но это не имело значения; это был зародыш партии, и в роли такового нас атаковали. Фактически, RDR так и не переросла эту первую стадию. Наши идеи были крайне размыты; сильно упрощая, это казалось новой версией той третьей силы, которую так много людей пытались создать во Франции. Мы хотели подтолкнуть наше правительство к объединению с другими европейскими правительствами в попытках посредничества между СССР и США.

Виктор : Были ли рабочие в этой группе?

Сартр : Несколько. Не так много. Я узнал их позже на Конгрессе, который похоронил RDR. По правде говоря, все пошло не так по прошествии года, когда мы увидели, что у нас больше нет денег. Руссет сказал, что мы должны обратиться за ними к американским подразделениям. И он поехал в Америку, из которой вернулся с несколькими пенни и требованием собрать людей разных наций в Париже на своего рода международный конгресс, такой, каким был конгресс коммунистов, инспирированный Движением за мир, проведенный в Париже. На Конгрессе развернулась дискуссия, и, главным образом, разговор зашел о войне. Не с тем, чтобы обсудить, как избежать ее, а для того, чтобы обсудить способы ее выиграть. Американцы прислали известных антикоммунистов, например, Сидни Хука. Люди восхваляли атомную бомбу. Мерло‑Понти, Ричард Райт и я, понимая, во что нас втягивают, отказались пойти на этот Конгресс и потребовали чрезвычайного собрания, который был проведен в Париже месяц спустя. Этот Конгресс был очень бурным. Бывшие коммунисты, троцкисты, осудили Руссета за те обязательства, которые он дал в США, и за проведенный митинг в поддержку мира (который на самом деле был воинственным). Там было большинство тех, кто хотел работать с коммунистами, и маленькое проамериканское меньшинство. О нем больше никогда не слышали после конгресса.

В это время я раздумывал, что буду делать в случае конфликта между Америкой и Советами. Я уже говорил, что для меня компартия казалась представляющей пролетариат. Казалось невозможным не быть на стороне пролетариата. Так или иначе, недавняя история RDR преподала мне урок. Микроорганизм, который вознамерился сыграть посредническую роль, был быстро раздавлен между двумя группами: одной проамериканской, другой просоветской. Перед угрозой войны, которая в 1950‑52 росла с каждым днем, мне казалось, что есть только один выбор: или США, или СССР. Я выбрал СССР. Это был выбор, обусловленный международными проблемами, но прежде всего мотивированный существованием компартии, которая, как казалось мне и многим другим, выражала стремления и требования пролетариата. Это было время визита Риджвея в Париж, бурной (коммунистической) демонстрации, которую спровоцировал этот визит, и ареста Дуклоса. Антикоммунизм нашего правительства продемонстрировал себя по этому случаю в деле с почтовыми голубями. Я был так возмущен, что написал три статьи в *Les temps Modernes* под заголовком «Коммунисты и мир», где объявил себя попутчиком компартии. Размышляя об этом сейчас, я думаю, что написать это меня подтолкнула скорее ненависть к буржуазии, чем привлекательность Партии. Так или иначе, шаг был сделан.

Чуть позже партия делегировала Клода Роя, который в то время еще был ее членом, и другого интеллектуала, чье имя я забыл (они всегда приходят парами, как копы), чтобы попросить меня присоединиться к группе интеллектуалов (коммунистов и некоммунистов), которые требовали освобождения Генри Мартина, молодого моряка, который распространял в Тулоне пропаганду против войны в Индокитае. Я согласился. Нас было много, тех, кто внес свой вклад в книгу о деятельности Генри Мартина и о репрессивных действиях правительства. Я поставил себе задачу написать этот полемический раздел. В каком‑то смысле, это была буржуазная критика буржуазного правительства: я раскритиковал его за нарушение буржуазной законности. Если угодно, можно сказать, что это был разрыв буржуа со своим классом. Я встретил Фаржа в доме доктора Dalsace, и он пригласил меня на следующий конгресс движения за мир. Я стал попутчиком коммунистов, что привело к новым разрывам, в частности, с либеральными левыми (диспут с *L’Observateur, Le Monde*, др.) Мерло‑Понти ушел из журнала, оставляя меня с новой задачей, политического характера, в которой мне помогла новая команда (Pиju, Lanzmann, др.), намного моложе и стремящаяся к отношениям критического сотрудничества в работе с компартией. В то время (с 1952 до 1956‑го) я проводил новый, более сложный эксперимент работы с коммунистами. Первое, что я заметил, это их непоколебимость в соблюдении соглашений. Ты не в партии, но ты находишься в соглашении с ней на время той или иной акции. И все происходит как если бы ты заключил с ними контракт: ты обязываешься выполнять что‑либо в совместных интересах, и они обязываются оказывать тебе содействие в этом — и они делают это, насколько возможно. В то же время по всем тем пунктам, по которым ты с ними не согласен, подразумевается, что они не будут на тебя нападать, и они не нападают.

Виктор : Значит, они честны?

Сартр: Да, но это тяжеловесная машина. Время от времени случаются сбои. Например, по делу Генри Мартина, мы просили, чтобы делегация, членом которой был и я, была принята Винсентом Ориолем, который тогда был президентом республики. Он ответил, что не примет делегацию, но готов принять меня. Так как вся наша группа зависела от того, приму я это приглашение или нет, я не мог решать один. Я позвонил доктору Dalsace и попросил проконсультироваться с высшими уровнями компартии. Он сделал это и вскоре мне перезвонил; мне следовало пойти. Лучше было хоть кому‑то пойти к президенту, чем вообще не идти. Я сходил, безрезультатно, как вы можете себе представить. И на следующий день прочитал в *L’Humanitй*, что Винсент Ориол не принял честных писателей и интеллектуалов, и предпочел принять подозрительного типа (меня). Потом я получил множество извинений. Ремни передачи не сработали и т. п. Я принял извинения. По сути, эти сбои не так важны. Так или иначе, они показывают, что активисты на всем протяжении своей деятельности придерживаются о тебе того же мнения, которое у них сложилось раньше. Вообще они его скрывают, но только и всего. Для них я мусор; они используют меня некоторое время, и на это время о своем отношении они не говорят. В первую очередь они не приняли идею критического сочувствия движению: почему я должен критиковать их, если они не критикуют меня? По той же причине у нас не было отношений с рабочими‑коммунистами. То есть, если ты вступаешь в отношения с самой большой партией рабочих Франции, как говорили в то время, это потому, что ты хочешь вступить в контакт с рабочими. Вы видели коммунистов‑интеллектуалов — или кого я назвал бы буржуазными коммунистами — или лидеров партии, но редко рабочих, или тех, кто тщательно выбран, как на конгрессе в Вене. Рабочих научили не доверять нам. Они начали с высказываний «Я, не интеллектуал; я, работник ручного труда» и т. д. и затем продолжили крайне интеллектуальным дискурсом! Именно тогда я начал понимать, что различение между рабочими и интеллектуалами бессмысленно, кроме как с профессиональной точки зрения, и что необходимо найти пути преодоления и этого различения. Последствием этого недоверия было то, что к нам относились как к манекенам. Нас сажали в кресла, за стол, на сцену. Мы произносили небольшую речь, садились опять, и все. Или еще подписывали манифест.

Виктор: Всегда ли соблюдалось соглашение?

Сартр: Да, за исключением сбоев, конечно же. Но вы поймите, не это являлось проблемой. Естественно, мы говорили не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет. Единственной проблемой было отсутствие взаимности, если вы понимаете, что я имею в виду. И я хорошо понимаю, что всегда возникают сложности между тем, кто представляет партию, и тем, кто представляет только себя. Но с ними это происходило систематически. В силу недоверия, как я уже говорил. Но не только из‑за этого. Я имел дело с людьми, которые признавали товарищами только членов своей партии, с людьми, опутанными приказами и запретами, которые относились ко мне как к временному попутчику и которые относили себя к будущему, к тому моменту, когда я выйду из игры под воздействием правых сил. Для них я не был полноправным человеком, но отсроченным мертвецом. Никакая взаимность невозможна с подобными людьми; как и невозможен взаимный критицизм, на который хотелось надеяться. От меня ничего не требовалось, кроме тех обязательств, что я на себя взял, но это не являлось вопросом соглашения, которое могло бы быть продлено. Да, я выступал на собраниях. И люди, которые меня слушали, говорили: «Это Сартр, друг компартии». Но везде я сталкивался с тем, что активисты использовали, но не принимали меня.

Виктор: Вы были отвратительным союзником.

Сартр: Отвратительным, верно.

Виктор: Вы продолжали писать то, что хотели?

Сартр: Я пытался. Я хотел продолжать свою роль критического попутчика, несмотря ни на что. Я писал против Канапы в *Les Temps Modernes*. И еще когда они избили Лекёра, который вышел из партии. Или опять же по поводу книги Hervй, вокруг которой было много шума.

Виктор: Но он же был настоящим ублюдком, этот Лекёр.

Сартр: Возможно, но я не думаю, что посылать коммандос избивать людей на собрании рабочих — это то, что должна делать партия рабочих.

Виктор : Это было собрание рабочих, проводимое Лекёром?

Сартр : Да, это было на Севере; он говорил с рабочими на собрании социалистов. Заметьте, что этот внутренний конфликт характерен именно для [французской] компартии. Я встречал людей из других компартий, в Италии, например. Глубоко внутри итальянская партия бескомпромиссна, но она гораздо более открыта. Ее члены защищают возможность дружить с не‑коммунистами. Когда мои отношения с компартией были натянутыми, они здоровались со мной, проходя мимо. Но когда я сблизился с Компартией Франции, я опять нашел итальянского друга, у которого были более широкие идеи. Вечер, когда русские войска вторглись в Будапешт, я провел в Риме с итальянским коммунистом. Он был в отчаянии, и мы могли говорить открыто, обмениваясь идеями. Компартия Франции очень специфична. Она кажется мне подверженной «болезни расчета» (расчетливости). Это часто мышление по аналогии, или, если угодно, единое мышление. На днях Дуклос напал на Лекануэта. Конечно, программа реформаторов плоха, и именно ее следует критиковать. Но вместо этого он перешел на инсинуации. Например, он сказал ему: «Конечно, вы же хотите быть министром». Я, слушатель, не имею ни малейшего представления о том, хочет или нет Лекануэт быть министром, и, по большому счету, мне на это наплевать. Для меня важна программа. Дуклос ни слова об этом не сказал. С другой стороны, он нападает на J.‑J. S.‑S. [Jean‑Jacques Servan‑Schreiber], которого там не было, чтобы ответить, и ведет к тому, что Лекануэт, его сегодняшний союзник, ответственен на ошибки J.J. S.S. Ничего из этого не является рассуждением, если хотите, это риторика. Видите, как, начиная с неясных параллелей, через бессмысленные рассуждения вы естественным образом приходите к клевете. С 1945 по 1952 клеветничество было процедурой, наиболее часто используемой компартией. Лучшим примером является Низан. Он ушел из партии в 1939‑40‑м, и сразу мы узнаем о том, что он предатель. Подтверждение: Плувинаж в одном из его романов. Так или иначе, он был нанят министерством внутренних дел, его подпись там видели (другого писателя, который в сущности покинул партию: «Он должен был сделать то, что велела ему полиция. Он женился на шлюхе из полицейских списков»). Марти, он шпионил за революционерами со времен мятежа на Черном море. Мы жили в отравленной атмосфере мыслей, которые не выдерживали проверки, но избегали этой проверки. Она была прогнившей, и мы никогда не могли быть уверены, что нас где‑нибудь не очерняют.

Ноябрь 1972

Один из персонажей романов Низана.